

КРАСНОЕ «СИЯТЕЛЬСТВО» ГРАФ ТОЛСТОЙ

ПОЧЕМУ АВТОР РОМАНА «ПЕТР ПЕРВЫЙ» ВДРУГ РАЗГЛЯДЕЛ В СВОЕМ ГЕРОЕ СТАЛИНА



В

В Париже, в каком-то кабаре, он не стыдась признается другу и эмигранту Анненкову, художнику: «Мне на все наплевать! — скажет. — Литературное творчество? Мне и на него наплевать! Нужно писать пропагандные пьесы?.. Я их напишу!.. Я написал «Петра Первого»... Пока писал, «отец народов» пересмотрел историю России. Петр стал «пролетарским царем» и прототипом нашего Иосифа! Я переписал заново, в согласии с открытиями партии, а теперь готовлю третью и, надеюсь, последнюю вариацию... Я уже вижу всех Иванов Грозных и прочих Распутиных реабилитированными, ставшими марксистами... Наплевать! Эта гимнастика меня даже забавляет! Приходится, действительно, быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Эренбрюки (так! — Авт.) — все они акробаты. Но они — не графы! А я — граф, черт подери!.. Понял?..»

Как дошел до таких откровений культовый советский писатель Алексей Николаевич Толстой?

°1

П. Кончаловский.
А.Н. Толстой у меня
в гостях. 1941 год.

Циник, делец, трудоголик

Он был умен и хитер, талантлив и родовит. Женщины едва не дрались за него, мужчины набивались в друзья, а люди власти даже лебезили перед ним. Он же, смеясь над миром, думал, что объегорит всех. А объегорил себя. Родной сын и тот скажет: «Он продал душу дьяволу. И... проиграл».

Но почему — вот загадка?!

Как только ни звали его. Лихоумец, делец, шалопай, перевертыш. Бунин окрестил его «восхитительным циником». Троицкий заклеил «фабрикантом мифов», а некто (уж и не помню — кто?) назвал даже «бесплодной смоковницей». Это его-то, у которого было почти 40 пьес, десятки романов и повестей, а рассказов — просто без числа.

«Плотный, бритое полное лицо, — пишет о нем Бунин. — Одет и обут всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь — признак природы упорной, настойчивой, — говорил на множество ладов... то бормотал, то кричал бабьим голосом... а хохотал чаще всего выпучивая глаза и давясь, крикая...»

А ел, ел, как во времена Рабле. Когда в 1933-м принимал Уэлса, то на столе среди рябчиков в сметане, тешки из белорыбицы, между дымящихся горшков гурьевской каши на огромном блюде лежала, вытянувшись, стерлядь — не стерлядь, а, как кто-то сказал, — «невинная девушка в 17 лет». Да и пил, как бездонная бочка. И врал, хохмил, разыгрывал, надувал народ направо и налево.

В Москве скупал на барахолках старинные лики в буклях и, развесив их по комнатам, мимоходом бросал: «Мои предки». В Париже, где его звали «Нотр хам де Пари», втюхал какому-то лоху-богачу, который верил в скорое падение большевиков, никогда не существовавшее у него в России имение в «деревне Порточки». За 18 тысяч франков. Не пустяк!..

Но! Но, как бы ни куролесил, ни напивался, проснувшись «тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу». Это опять слова Бунина, который еще и добавил: «работник был первоклассный». Слова важные, фраза — первого русского нобелиата! — кому ж и верить тогда?..

Натурально граф

А началась, выпросталась такая натура, представьте, в 14 лет. Именно тогда он узнал, что он не Леля Бостром, выросший на хуторе под Самарой, где друзьями его были деревенские мальчишки, а натурально — граф. Да еще потомок Толстых, давших миру и писателя Льва Николаевича, и поэта — Алексея Константиновича. Нашего третьего звали, правда, потом и «бастардом», и даже — «самозванцем». Но Горький графство признает — «хорошая кровь». А Волошин, поэт, отзовется даже возвышенно: «Судьбе было угод-



КАК ТОЛЬКО НИ ЗВАЛИ ЕГО! ЛИХОУМЕЦ, ДЕЛЕЦ, ШАЛОПАЙ, ПЕРЕВЕРТЫШ. БУНИН ОКРЕСТИЛ ЕГО «ВОСХИТИТЕЛЬНЫМ ЦИНИКОМ». ТРОЦКИЙ ЗАКЛЕЙМИЛ «ФАБРИКАНТОМ МИФОВ»



но соединить в нем имена... писателей: по отцу он Толстой, по матери — Тургенев... В нем течет кровь классиков русской прозы, черноземная, щедрая, помещичья кровь...»

Это, к слову, и так, и — не так. Тургеневой была мать Толстого (он даже хотел взять псевдоним Мирза Тургенев), но дедом матери был не писатель, а декабрист Тургенев — не пересекавшиеся ветви. А что касается титулов, то сойтись ныне можно только на том, что все три Толстых были потомками первого графа Петра Толстого, дипломата, основателя Тайной канцелярии, того, кому графство дал еще Петр Первый.

Мать Толстого, выйдя из обедневших дворян, была самой романтикой. Первую повесть сочинила в 16 и стала писательницей, да такой, что сын и после смерти ее долго еще получал гонорары «мамочки», а какие-то байки ее для малышни входили в хрестоматии, представьте, до брежневских времен. Мать боготворил всю жизнь. Правда, когда в 18 лет дал ей прочесть тетрадку со стихами (считал себя поэтом), она, затворившись у себя, вышла с высохшими слезами и грустно, но твердо сказала: «Все это очень серо. Поступай, Леля, в какой-нибудь инженерный институт...»

Он так и сделает, подаст документы сразу в 4 технических института и вскоре обнаружит себя студентом питерской «Техноложки». И почти сразу — женится. На Юленьке Рожанской, партнерше по самарскому драмкружку, а тогда — студентке медицинских курсов. Проживет с ней



°2
Алексей Толстой (справа) с матерью, отчимом и приемной сестрой. 1890-е годы.

°3
Военный корреспондент Алексей Толстой в период Первой мировой войны.



° 4
Обложка детской сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

5 лет, родит сына, но, испытав «отчуждение» от родителей в связи с женитьбой, бросит и институт, и жену. Через 5 лет встретит другую, Соню Дымшиц, тоже ненадолго. Эгоист — что тут поделаешь?! Но недостаток ли это для писателя, для «инженера человеческих душ», как вот-вот назовет эту «породу» Иосиф Сталин?

Любящий муж

Он мог бы сказать о себе: я люблю только жену и детей. Ну, еще себя — любимого. Только вот жен у него было четыре. Впрочем, почему мог бы сказать? — сказал. «Я люблю только трех существ» — жену и двух детей — так написал третьей супруге своей — Наталье Крандиевской. Но написал, вот ирония судьбы, незадолго до ухода к Людмиле Баршевой — четвертой жене.

себя невестой, даже поцелуя не даст ему. Недаром он «забросит» ее в новом романе не на Луну даже — на Марс и красиво назовет Аэлитой. Наконец, прежде чем распиться с последней женой, влюбится в Надежду Пешкову, в Тимошу, в жену сына Горького, из-за которой будет соперничать с самим Ягодой, главой НКВД...

Плагатор

От одесского порта к берегам Турции отплыл не пароход, набитый русскими — Ноев ковчег Всякой твари по паре. Отчаливали в эмиграцию демократы, монархисты, националы, меньшевики, либералы. И — Толстой, который успел побывать и демократом, и монархистом, и либералом... А когда «ворота свободы» открылись, когда судно встало на карантинный якорь в Кон-



05



06



07



08



ВСЕ ЧЕТЫРЕ БРАКА ЕГО СЛОВНО КАЧЕЛИ. ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ТИШИНЫ — В БУРЮ, ИЗ УРАГАНА СТРАСТЕЙ — В УЮТНЫЙ ШТИЛЬ. И, НАКОНЕЦ, СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК В ПОСЛЕДНИЙ РОМАН



° 5–8
Алексей Толстой четыре раза вступал в брак. Первой женой была Юлия Рожанская (5), второй — Соня Дымшиц (6), третьей — Наталья Крандиевская (7), а четвертой — Людмила Баршева (8).

Все четыре брака его были словно качели. Из провинциальной тишины с Юленькой — в бурю с Соней, из урагана страстей с ней — в уютный штиль домовитой Натальи. И уже от нее — в смертельный прыжок, в последний роман с молодой, страстной, жаждущей публичности Баршевой. Вот только если на Юленьке он женился, не спросив и маменьку, то о последней свадьбе вынужден был информировать даже ЦК партии. Так «нужно было», напишет стреножено...

Впрочем, если разбираться в натуре его, то между свадьбами его всегда возникали — пардон! — «романы-прокладки», женщины с которыми ничего не было, но которые как бы воплощали его мечты и влечения. Скажем, прежде чем уйти к Крандиевской, он влюбился в юную балерину Кандаурову, будущую «звезду Большого». Это «лунное наваждение» его, позволив объявить

стантинополе, все стало понятно про их будущее.

Против их каюты, пишет его сын, на борту была приделана наскоро сколоченная кабина, повисшая над водой. «Это был гальюн весьма примитивного устройства: в полу сделана дыра, сквозь которую были видны далеко внизу пенящиеся волны. По утрам около гальюна выстраивалась длинная очередь. Седые генералы с царскими орденами, одесские жулики, адвокаты, аристократы, дамы, как будто только что покинувшие великосветские салоны. Я в своей жизни не видел более унижительной картины...»

Толстой тогда и прорывал: он никогда, никогда больше не будет в очереди «у гальюна». Он пробьется. И тут же, прямо на палубе, работал. Ставил на ящик машинку «Корона» и печатал, печатал. Что писал на корабле — неизвестно, но в Париже начнет «Хождение по мукам», где все и опишет.

Доподлинно, правда, известно, что в Одессе накануне бегства, всем говорил «что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам...». И известно, что через двадцать лет, в 1939-м, напишет Крандиевской прямо противоположное. «То, что происходит у нас (в СССР.

—Авт.)—грандиозно и величественно, и перед этим бледнеет муза фантазии...»

Самой близкой ведь писал, кому не надо было врать... И все же, думаю, врал. Сын скажет потом: «Любил благополучие... Если очень любить покой, удобства, достаток, можно начать приносить жертвы во имя всего этого. А жертвами обычно являются убеждения...»

«Жить для себя», вот о чем мечтал. И зорко зыркал по сторонам, кто же из людей, этих «насекомых» и «призраков», может помочь в этом? Он всех обхитрит, всех объедет на кривой! Главное — не стесняться.

В Берлине присвоил, фактически украл у бедной, умиравшей от безденежья писательницы Нины Петровской ее перевод итальянской сказки «Приключения Пинокио», которую превратит в «Золотой ключик». Сослался на нее при первой публикации: «Переделал и обработал Алексей Толстой», но потом ее имя даже не упоминал. Или — натуральный суд, когда в 1924-м он «слямзил» — украл сюжет пьесы Чапека «ВУР» («R.U.R.»), переделав ее в «Бунт машин», да еще не заплатив переводчику. Или, наконец, — презрение даже друзей, когда в 1936-м Толстой буквально «потопил» в общественном мнении писателя Добычина. Так выступил на одном собрании, пишет Каверин, что жена Федина просто орала в коридоре: «Каков подлец! Вы его еще не знаете! Такой может ночью подкрасться на цыпочках, задушить подушкой, а потом сказать, что так и было. Иуда...»

«Не пролетарий»

Вернувшись из эмиграции, граф, правда, еще хорохорился. Попав на первый митинг в Большом театре, сказал одному писателю: «Ни на какие митинги больше я не пойду... То есть купить меня, низвести до уровня ваших идиотских митингов — дудки! Я граф — не пролетарий...» Но вскоре не только регулярно ходил — бегал. Смешно, но когда в конце 1930-х был устроен митинг писателей, награжденных властью, то Толстой, опоздав, шумно войдя, плюхнулся сразу в президиум. «А после того, — пишет Пришвин, — Фадеев объявил: «Предлагаю дополнительно выбрать в президиум Толстого». Все, — итожит Пришвин, — засмеялись...»

А что? Нахальство — второе счастье!..

«Всяк умный, — сказал, кажется, Грибоедов, — не может быть не плутом». Что ж, возможно! Только вот — литература? Большая литература? Совместима ли она с нахрапистостью, ловкачеством, стяжательством? Ведь и впрямь не представить «личного шофера» у Цветаевой, как у него, или «теплую дачу» у бездомного Мандельштама. И, конечно, в страшном сне не увидать Андрея Платонова, выбивающего у властей даже не второй — хотя бы первый автомобиль. В письмах жене Платонов дважды просит ее пойти в Литфонд и вновь напомнить «чиновникам от литера-



09



10



РИА НОВОСТИ

11

туры» о патефоне, на который он «давно записался» (эта новинка могла развлечь больного сына его — Тотю). А Толстой еще в 1933-м, когда страна голодала и жила по карточкам, писал жене:

«Тусенька!.. С машиной — неопределенно.

Постройка ее приостановлена, не годится наша сталь. Придется поехать в Нижний самому. О заграничной машине говорил с Ягодой, он поможет. Затяжка с машинами меня ужасно мучает. Но, стиснув зубы, нужно все довести до конца». Стиснет, урвет даже третью машину — от Ленсовета.

Но при чем здесь, скажите, литература?

«Английский шпион»

На этот вопрос — может, самый главный! — раз и навсегда ответила та же Цветаева. В статье «Искусство при свете совести» написала: «Большим поэтом может быть всякий большой поэт. Для большого поэта достаточно большого поэтического дара. Для великого самого большого дара мало, нужен равноценный дар личности: ума, души, воли и устремления этого целого к определенной цели...» А Толстой, по приговору Бунина, «проявлял... великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко... приспособивался».

° 9, 10

Д. Шмаинов.
Иллюстрация к роману
«Петр Первый».

° 11

Алексей Толстой читает
свою пьесу «Петр
Первый» артистам
Ленинградского
театра драмы
им. А.С. Пушкина.
1937 год.

Вот и различие; его не покроешь ни тиражами, ни выборами в депутаты, ни орденами и сталинскими премиями, коих Толстой заслужил целых три.

Поймите меня правильно. Он не был «злым гением», демоном эпохи. Были патентованные доносчики, прямые виновники арестов и смертей. А граф был разным. Ледяным и в одном флаконе — горячим. В Берлине печатал и «ввел в литературу» Булгакова и Катаева, хотя оба открещивались от него потом. Защищал перед Горьким поэта Павла Васильева, помог опальной Ахматовой выпустить сборник стихов, даже обращался к Сталину с просьбой поддержать бедствующего во Франции Бунина. Я уж не гово-



12

РИА НОВОСТИ



ЕМУ БЫЛ ДАН ОГРОМНЫЙ ДАР, НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВОЛЯ, ТИТАНИЧЕСКОЕ ТРУДОЛЮБИЕ. ВСЁ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЕЛИКИМ. НО ВЕРЕВОЧКА ЖИЗНИ, ОБЕРНУВШАЯСЯ ПЕТЛЕЙ, СПЛЕЛАСЬ ИНАЧЕ



рю, что человек 5–6 «вытащил» из тюрем. Спас и переводчика Михаила Лозинского, и литератора Петра Зайцева, и мужа балерины Вечесловой. Наконец, бился за ссыльных писателей: за сатирика Жирковича и довольно известного тогда прозаика, но бывшего офицера-деникинца Георгия Венуса.

Жена умершего в 1939-м от пыток Венуса тогда написала о Толстом: «Пусть эти каменные люди знают, пусть они видят, что НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК не остается глухим к человеческому воплю...» Правда, не знала того, что знаем мы, что на последних допросах Венуса только одним и мучили: шпион ли Толстой или нет и что тот знает о преступных «связях» графа в Париже и Лондоне? И не ведала, конечно, что Толстой если и не знал в точности о «подкопе под себя», то нутом, поджилками догадывался о том.

На Венусе он и сломался.

Конформист

Первый раз замер от ужаса на перроне в Ленинграде. Сразу после убийства Кирова в 1934-м. Толстого выдернули из дома звонком из Смольного — встречать спецпоезд Сталина. Он ведь знал вождя, дружил с обкомом, был уже «графом партийным». Сталин, пишут, вышел из вагона мрачнее тучи. К нему тут же с докладом шагнул начальник питерских чекистов Филипп Медведь, партиец с 1907 года и близкий друг Кирова. Но едва он поднял руку к козырьку, Сталин молча влепил ему пощечину. Шок ведь! Столбняк! «Верховную смазь» услышали все, и все поняли — страну ждет что-то страшное...

Когда Толстой вернулся на дачу, домашние кинулись к нему: «Ну как? Расскажи! Кто же убийца?..» «Отец оглядел нас всех, — вспоминал его сын, — и около минуты простоял молча... «Что вам сказать?.. Дураки вы все. Ничего вы не понимаете!...» Он-то понял все. За первую неделю в городе было арестовано 843 человека (эта цифра вырастет до 3 тысяч, а число высланных вообще до 100 тысяч), через две недели в Москве взяли под стражу Каменева и Зиновьева и еще 30 крупных партийцев, а через три недели, когда в двух столицах уже шли расстрелы, пышущий здоровьем граф свалился с инфарктом.

«От безвыходности», — пишет Оклянский, биограф. От безумного страха — посмею добавить я.

Сталин давно уже не был для Толстого своим, «карманным человеком», как почудилось ему когда-то. Да, вождь еще в 1929-м защитил пьесу Толстого «На дыбе», когда на нее ополчились «идейные ревнителы». Да, посмеивался в усы «клоунаде» графа. Да поменялся как-то с Толстым трубками (какой, однако, «интим»!), отчего граф чуть не прыгал от радости. Наконец, выпустил его за границу, когда тот полетел в Сорренто к Горькому. Все это были милости власти, но кто был жертвой здесь, а кто палачом, сам граф сообразил давно. Поджилками сообразил.

Страх! Страх давно уже диктовал графу, как поступать, что сказать с трибун, даже что и как писать. Теперь наш «лихоумец» не столько писал, сколько переписывал себя. И не только «Петра Первого», с чего начались эти заметки...

«Очаровательный негодяй»

Он умер в санатории в Барвихе, неподалеку от своей новой дачи. Челюсть покойнику подвязали простым бинтом, тело накрыли солдатским одеялом. Но хоронили «английского шпиона», как уже назвал его Сталин, пышно: с сообщением от ЦК партии и правительства, со статьей Шолохова в «Правде», с погребением на Новодевичьем.

Смерти боялся страшно. А умер, «подхватив рак», как пишет Шапорина, жена композитора, от того, что Сталин заставил его смотреть,

° 12

Встреча с летчиком Валерием Чкаловым. 1938 год.

как вешают по стране «немецких прихвостней» — включил его, депутата и лауреата, в комиссию о преступлениях нацизма. Вот там-то, на городских площадях, где дергались на виселицах предатели, он и заболел. Так ли, нет — не знаю. Но точно знаю, что Сталин включил его и в комиссию, посланную в Катынь, где по черепам убиенных поляков ему надо было «подтвердить» известную ныне ложь — 20 тысяч польских офицеров были расстреляны не нашими — немцами. Вот зачем «английский шпион» Толстой нужен был Сталину живым, вот почему его не арестовывали.

Вот почему не просто продал душу дьяволу — с потрохами продал...

Три человека насчитал я, кто прямо назвал Толстого «негодяем». Ахматова («очаровательный негодяй»), наш современник, ныне покойный поэт Чичибабин, человек отсидевший свое (помните его стих: «Я грел свечу тоской. / Мне жалко негодяев — / Как Алексей Толстой / И Валентин Катаев...»), и — некая неизвестная женщина в письме от 37-го года, которое граф почему-то сохранил. «Сегодня, — написала она ему, — я сняла со стены ваш портрет и разорвала его в клочья... Еще вчера я... ставила вас выше М. Горького, считала самым большим и честным художником... И вдруг услышала захлебывающийся от восторга визг разжиревшей свиньи, услышавшей плеск помоев в своем корыте... Я говорю о вашем романе «Хлеб»... Вы стали заправским подпевалой... Вы негодяй после этого!.. О, какой жгучий стыд!.. И я плюю вам... в лицо сгусток своей ненависти и презрения. Плюю!!!»

Круто! И было за что. За Сталина, кого уже не только звал «Петром I», но силился доказать, что Петр был грузином, за прославление Беломорканала, за процессы, после которых он вчерашних знакомых звал в газетах «петлявшими зайцами» и «извивающимися сколопендрами»...

Не великий...

Последней своей жене Людмиле Баршевой телеграфировал из Праги: «Какие куплены штучки! Я взял в посольстве одну даму, ростом и фигурой приблизительно как ты, и загонял ее насмерть...» Спутники его рассказывали, что все купе графа было завалено саквояжами и баулами. А когда подали паровоз, на перроне показался Толстой «в обнимку с последним угрожающих размеров чемоданом с болтающимися ремнями и незакрытыми замками. Поезд тронулся. Толстой успел толкнуть в тамбур свою ношу и не по возрасту резво вскочил в вагон. Он упал массивной графской грудью на распахнувшийся чемодан, в грудку кружев, тончайших и светлых... Лицо его светилось блаженством...»

Он звал Баршеву «лебедушкой» и «синим колокольчиком». Ему 53, ей — 30 лет. Она, кого Ольга Берггольц ядовито назовет потом «графиней от корыта», а пасынок Толстого «хищной тигрицей», была дочерью царского генерала, рас-

стрелянного в Крыму, была в разводе с писателем Баршевым, а до того работала красильщицей, киоскершей, рабочей упаковочного цеха. Была никакой, умела долго и обстоятельно говорить «о пустяках». Но Толстой сходил с ума, писал, что готов «целовать пальчики на ногах» и сделать ее «государственной женщиной». Что имел в виду, непонятно, но то ли любил по-настоящему, то ли в четвертый уже раз убеждал себя, что любит.

Уходил, убежал от одиночества, от той «дребезжащей тоски», когда, как признался, «остаётся грызть подушку».

Вообще-то — реальная трагедия! Ему ведь был дан огромный дар, нечеловеческая воля, титаническое трудолюбие. Все, чтобы стать великим. И ведь есть, были иные примеры: Цветаева, Платонов, Бунин в эмиграции, Мандельштам, Добычин, даже весь фантастический Грин. Мог, мог стать вровень с гениями. Но веревочка жизни, обернувшаяся петлей, сплелась иначе. В эмиграции мог писать правду, но светило безденежье; в России, напротив, денег с его талантом могло быть и было — навалом, но надо было или писать «в стол» — для вечности, или уж — как прикажут.

Впрочем, и этого «выхода» — писания «в стол» — у него не было. Он к 1930-м уже не мог просто писать «для себя». Само молчание его было бы расценено как преступление. Вот ловушка-то! Вот когда в узком кругу, в подпитии он кричал: «Я лучше буду писать дерьмо за столом, чем есть г..но в лагере!..»

И вот почему у нас язык не поворачивается назвать его, титулованного, орденосного и остепененного беллетриста, писателем воистину великим.

° 13

Могила писателя на Новодевичьем кладбище.



Незадолго до смерти его, кровохаркающего уже, выпустили из санатория отпраздновать Новый 1945 год. Встречали четвером: он с женой и великий Михоэлс с супругой. «Был накрыт великолепный праздничный стол. У Толстых, — вспоминала Потоцкая-Михоэлс, — всегда было много прекрасных цветов, но на этот раз в центре стола стояло какое-то поистине необыкновенное цветущее дерево. Оно было почти фантастическим по изобилию цветов. «А это — древо жизни, так и называется», — сказал Алексей Николаевич. Мы просидели всю ночь за столом веселые, но трезвые... Никто не танцевал, резко не двигался, но утром «древо жизни» все нашли надломленным!..»